

Чаваш чѣлхи ячѣпе
пурте пѣр пулар!

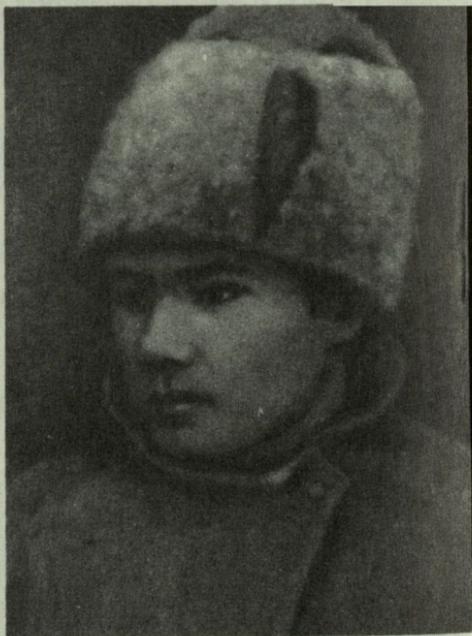
Сѣспѣл Мишши.

Чавашан малалла аслалӑха
вѣренес пулать. Тенче пысӑк,
тѣнчере темѣн те пур. Тѣнчене
пѣлме тӑрӑшмасӑр, тѣнче йӣркине,
пурнӑс йӣркине пѣлме
тӑрӑшмасӑр пурӑнма май сук.
Саксене тума, вѣренме, йӣрне
пѣлме черѣ самах кирлӗ,
савӑрӑнасуллӑ каласу кирлӗ,
Чѣлхе кирлӗ.

Пурӑнӑс — Чѣлхесӣр пулмасть.
Чаваша вырӑс чѣлхипе пурнӑс
тутарайман, чаваша — Чаваш
чѣлхи кирлӗ. Пѣр енчен: Чаваш
чѣлхи сухалма пулараймасть.

Пӑлхавӑр тунӑ чух та
Чаваш чѣлхи кирлӗ.

Темле пулсан та, малалла та
чавашан чавашла каласмалла
пулать. Нимѣн тума та сук.
Мѣн тӑван сухалма пѣлмен чѣлхене.
Ирӣксӣрех хисепе хурас пулать.



Сеспель Мишши. Одна из последних фотографий поэта.
Остер. 15 апреля 1922 г.

Мих. Сеспель

*слабых плеч с стальной корабель
Революции. Только смелые и бодрые
достойны рожденков в бурях Октября
Нового Дня. Мих. Ку Эб мн.*



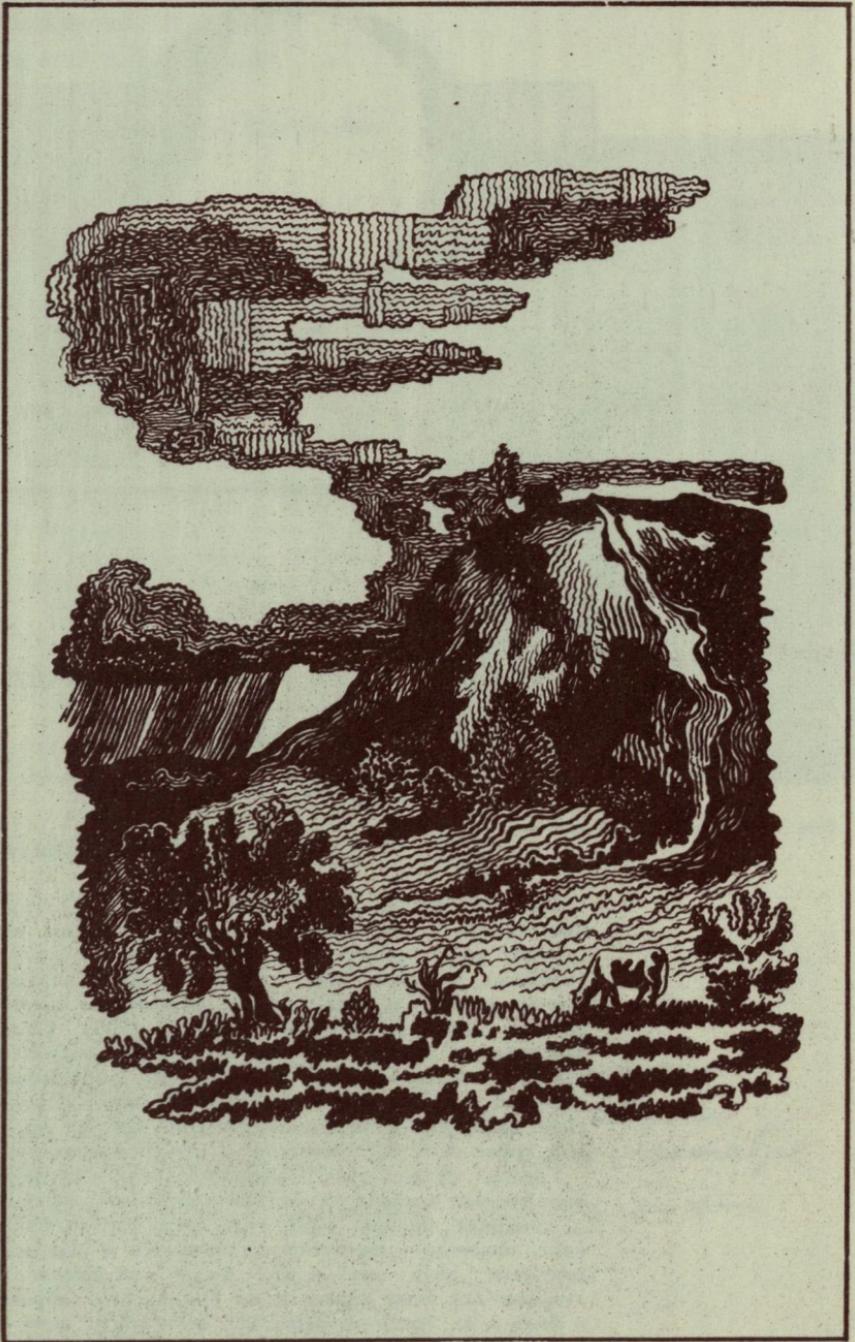
Геннадий Айги

ПОДСНЕЖНИК СРЕДИ БУРИ

Леону Робелю

Закононое мерцание тускло-белой ноябрьской окраины города — постепенно — становится местом какого-то моего забытья...— где я? — будто, действительно, я давно уже втянут в некие полузабытые дали...— и вот, как бы начинаются плутания по давнему, далекому бедному полю, среди занесенных снегом оврагов,— когда-то подобные плутания бывали наяву в таких же сиротливых сумерках; трудно проложить в этой зыбко-тусклой тьме какой-либо путь, разделяющий сон от видений, даже — от воспоминаний о чем-то «реальном».

Где-то, среди этих «вечно»-далеких, когда-то родных мне оврагов, в бедной чувашской деревне, в сумерках ноября 1899 года родился мальчик-поэт, навсегда — юноша-поэт, погибший в возрасте двадцати двух лет...— это было шестьдесят с лишним лет тому назад, и он (не просто «образ», а боль — во мне) не перестает беспокоить меня — с юности и до сих пор.





Чăваш чĕлхи,
чăваш чĕлхи,
Хĕвел каварĕне
вутлан.
Сĕле часрах
таван сĕре.
Чăваш чĕлхи,
сĕлен сăххи,
Халр аса
сапни уххи
Пулса кĕр
сĕне ёмĕре.

А. Миттов.
Иллюстрация
к стихотворению
М. Сеспеля
«Чуваш! Чуваш!...»
1968.

Своим псевдонимом он выбрал слово «Сеспель», по-чувашски означающий «подснежник». Всюду носился огненный смерч Революции, отблески его для чувашского мечтателя-юноши казались вспышками и порывами его собственного душевного мира. Наконец, во тьме беспросветной бедности, в патриархально-застывшей жизни вокруг, наступила долгожданная Оттепель его времени, — не первый ли он цветок из-под снега, сперва — робко, а потом все более лучезарно потянувшийся не просто к сиянию дня, а, — как он выражался, — к его огненному «преображенному лику», в самую даль и глубь — вселенскую глубь этого «лика», — он всегда будет называть это «Новым Днем», — с большой буквы, и только в стихотворении, написанном за несколько дней до гибели, «пылающее средоточие» Нового Дня превратится в беспросветное «дно Дня».

Он — один из самых трагических поэтов, из всех — известных мне, и это трагическое — столько же стечение обстоятельств его жизни, сколько и родившееся — в нем, вместе с ним.

Он — не «дитя любви». Его мать, через полвека после гибели сына, с нескрываемой неприязнью вспоминает о муже, за которого она была выдана насильно. Воспоминания этой неграмотной женщины, записанные с ее слов, поражают подробностями и образами почти фольклорскими. Накануне своей свадьбы, она видит во сне топор, поблескивающий на пороге бедного чувашского дома. Этот приснившийся топор «реализуется» в жизни семьи через одиннадцать лет: психически неуравновешенный отец Сеспеля — в пьяной драке — убивает этим орудием родного брата. Он сослан в Сибирь на каторгу. Мальчик-Сеспель чувствовал в нем родную душу, — этот полуграмотный крестьянин, не имевший понятия о «таланте» и его связи со «славой», восторгался своим сыном, пораженным с ранних лет живостью воображения и недетской вдумчивостью, — «из тебя выйдет нечто никем невиданное», — говорил он мальчику (и никогда неутихавшая тоска Сеспеля по своему отцу напоминает пожизненно-благодарное отношение Диккенса к его слабохарактерному отцу лишь за то, что тот когда-то понял его исключительность и «восторгался им»).

За год до этой трагедии Сеспель-подпасок во время ночной пастыби лошадей засыпает на весенней голой земле, — с той поры и до конца жизни он будет мучиться костным туберкулезом.

Он — со стороны матери — внук языческого жре-



Село Старогородка Остерского района
Черниговской области на Украине.
Мать поэта Агафья Николаевна
у могилы сына. 15 июня 1952 г.



1899 * 1989

Таван сёршын,
е сан та вайо пётрё?
Е чаваш чёлхин
хават сётрё?

Е ют чёлхесем
ўсен майё
Чаваш чёлхи сётсе,
пётсе кайё?

Е чаваш сьмни,
чаваш ялё
Сарлака сёр сичен
сухалё?..

ца, еще через десятки лет помнили об удивительном закладательно-языковом мастерстве этого старика (позже, в революционной поэзии Сеспеля, «закладательная» энергия будет поражать неистовством и неудержимостью, непревзойденным языковым блеском).

В отрочестве Сеспеля бывают периоды, когда он — во время кризисов болезни — не способен ходить. Его младший брат возит его на санках в школу — за несколько километров.

В этом больном подростковом с антрацитово-пылающими глазами таится редкостный огонь, — его багровые вспышки вскоре будут разрезать грозные стихи, в которых — при выражении неистовой, даже — может быть — «чрезмерной» любви к родному краю, будет что-то и «инородное» для языка, для эстетических представлений его народа, это будет поистине «рембоический» огонь, почти пугающий его сородичей.

Да, — что-то «рембоическое» есть и в его поступках, не укладывающихся в границах привычной ежедневности — этой «тихой, сонливой», общинно-коллективной жизни вокруг. Подросток Сеспель, как юноша-Рембо, уходит (не «бежит») из дома, оставляет сельскую школу, чтобы участвовать в продолжающейся войне с немцами, добирается до действующей армии, но, разочаровавшись в своем «патриотизме», возвращается домой, став сторонником большевиков.

Показательно, что подобные страстно-безоглядные поступки Сеспеля, непривычные для его среды, никогда не были индивидуалистическими «выходками», — они вызывались не разрушительными побуждениями, а его глубоко-органической тягой к идеальному — стремлением к созиданию новых, идеально-справедливых взаимоотношений людей. Он, при невообразимых материальных лишениях, заканчивая в маленьком русско-татарском городке, вдали от родного села, учительскую семинарию (надрываясь от сострадания, он знает, что иногда, чтобы оплатить учебу сына, матери приходится продавать последние пуды ржи и жить впроголодь с младшими его братьями). Образование его, в силу провинциальных условий, весьма недостаточное (любимое его чтение — банально-посредственный Надсон, юноша-Сеспель декадентски-сентиментален в письмах этого времени, но когда он переходит к собственной поэзии, он мгновенно проявляет зрелость могучего мастера слова).

Сеспель становится одним из первых чувашских комсомольцев, его привлекают к работе в

Сеспель Миши и его «светлый, кипучий друг»
Павел Бекшанский. Казань. Ноябрь 1919 г.





1899 * 1989

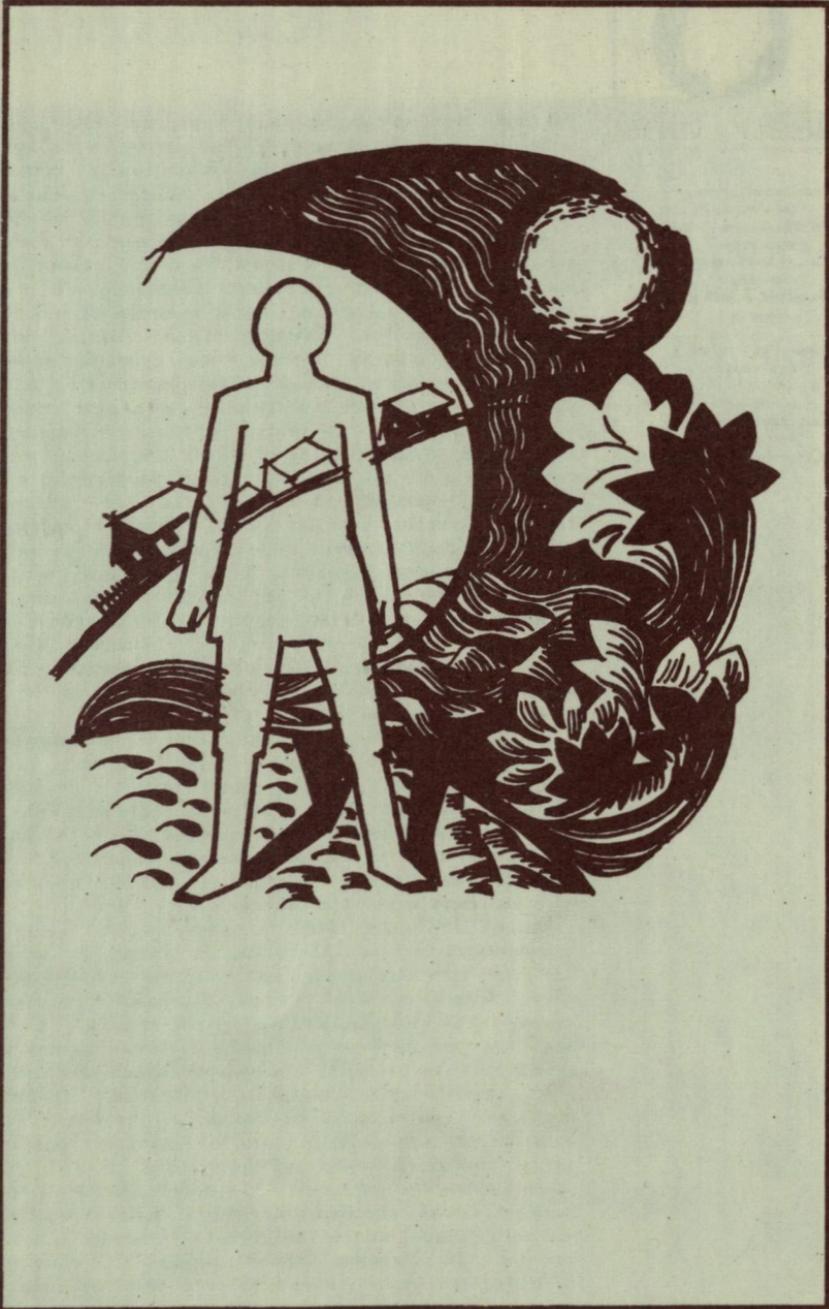
Чёрё юднӑ сёршып
сасӑ пачӑ,
Эп пӗлен: ун сасси
усах мар.
Ун суранӑ ырман
сӑн-сӑпачӑ
Илемлех те пек мар
пуçсанма.

Анчах ун чӑтӑмӑ,
чун хавалӑ,
Ун асапӑ...
сакна кӑшт пӗлсен —
Кам мана тӗнчере,
кам-ши калӑ
«Сёршыму санӑн
халсар» тесе?!

уездной судебно-следственной комиссии. Он, временами еле передвигающийся на ногах, проводит дни и ночи в поездках по чувашским и татарским селениям. Он разрывается между максимализмом в служении новому жизнепорядку и состраданием к тем, кто все еще продолжает жить в сумеречной бедности и приниженности «обычной» жизни. Он расследует крупное злодеяние, — в это дело замешан бедный забулдыга-крестьянин, после ареста которого его большая семья остается без кормильца. Сеспель, добившийся суровой кары для преступника, в течение долгого времени — под видом «официального пособия» — посылает семье преступника деньги из своего скудного жалованья. Приехав в чувашскую деревню на очередное расследование, он — занятый днем следственными делами — ночами работает в поле, идет за сохой — вспахивает участок семьи, которой некому помочь. В выступлениях перед крестьянами, на митингах, он — огонь-и-пламя, а на дружеских вечерах — его «не видно и не слышно»: «мы долго жили вместе в одной маленькой комнатухе, — вспоминает один из его друзей, — у Михаила была одна поразительная способность, — он ходил удивительно бесшумно, меня вообще поражала его удивительная мягкость во всем».

Осенью 1920 года Михаил Сеспель, выдвинувшийся в Чувашии в первые ряды борцов за новую власть, был назначен председателем чувашского Революционного Трибунала. По-видимому, романтически-открытый максимализм Сеспеля настораживал практически-опытных руководителей. Чувашской автономной области, — Сеспель пробыл на этом посту всего две недели.

Весной 1921 года был совершен поджог здания чувашского Отдела Юстиции, в связи с этим Сеспель арестовывается по клеветническому доносу. Освобожденный из-под стражи (однако исключенный из Коммунистической партии), Сеспель едет на лечение в Крым, — резко обострился туберкулез костей. По окончании курса лечения, поэт становится скитальцем огромной страны, последние два года своей жизни он проводит на Украине. В 1921—1922 годах в Поволжье разразился страшный голод. «Родина моя, родина, на краю гибели», — настойчиво повторяет Михаил Сеспель в своих автобиографических записях, зная, что его голос никем не будет услышан. Работающий на Украине инструктором по помощи голодающим, он неоднократно встречает переселенческие эшелоны, прибывающие из Поволжья.





1899 * 1989

Сёр сунса сёлесен,
Сёр сине мал сичен
Сёне сән
сисёмле ситтёри.

Сёне сән йалтәрри,
Уи кавар сямәрри
Чёрере Вут Сәмах
чёртёри.

А. Миттов.
Иллюстрация
к стихотворению
М. Сеспеля
«Стальная вера».
1966.

«Вижу на станции голодных со страшными исхудалыми лицами, в лохмотьях — беженцев с Волги, — пишет он в январе 1922 года украинскому другу, — в прошлые сильные морозы то тут, то там они умирали кучами — больные, замерзшие, и их сотнями, как дрова, накладывали на дровни и увозили, ничем не прикрытых... На базаре, где торгуют и на миллионы, где и булки, и хлеб, и сало, и все, — босые, покрытые язвами, в отрепьях беженцы с Волги лежат и просят бессловесно хлеба...» Он пишет это в дни, когда, извѣдаемый костным туберкулезом, он уже тяжело хромает, — Сеспель знает, что он обречен: «тело мое разлагается, как у трупа, и нечем это остановить», записывал он в своем дневнике еще в 1920 году.

При жизни Сеспеля напечатал в Чувашии менее десяти стихотворений. Странные, местами «почти-нечувашские» небывало-дерзкой образностью, они кажутся чуть ли не «дико-иностранными» среди старо-силлабических полу-фольклорных виршей его времени. И вот, на далекой Украине, поэзия становится для Сеспеля тем скрытым в нем — почти аномическим — местом, где, в конвульсивных строчках, душатся, «подавляются» его душевные спазмы.

В нем, безусловно, что-то есть от Маяковского. Но, странным образом, он не проявляет к нему особого интереса. Не настаживает ли его в трагизме Маяковского некое эго-ядро, некая самолюбленность русского поэта в трагичность именно самого себя? — когда Сеспель, в наивысшем душевном напряжении, обдуманно и твердо двинется навстречу своей гибели, его «метафоры» (какие же это «метафоры»? — это не знаменитый «пожар сердца» Маяковского, развернутый по методу формально-лингвистического «конструирования»), его «сравнения» и образы отрываются от его сущности-боли, как сгустки крови («всё в крови — что это в моей руке? — разрываю, превращаю в пух и мясо, на куски рву жилы, это мое — Михаила Сеспеля — кровавое сердце»). Как «антифольклорен» этот глубоко-народный (по происхождению) поэт!.. — но вот, проходят годы, я все больше думаю о нем, и за «кусками мяса» его метафор, я, кажется, слышу что-то и из тайного «говора» народного, — что-то, обращенное «ни к кому», неким бормотанием-шепотом («да кто это услышит») проскальзывает в доньях того «разговора-молчания», что напевалось-проборматывалось — народом, — эта «тайная бездна», как мне кажется теперь, как бы скользяще-стойко мерцает за светом-и-мраком поэзии Сеспеля.

Жизни мой, за какими холмами
Твоя с усталой кровелью дом.
Тихой тенью, побитой камнями
На распути, стоишь босиком.

~~Степ, твои холмы,~~
~~и степи~~ степи и ледяные плечи
Выпила кепочка пурга,
К чутам обокровленным нечем
Порешив оти возмнать

И когда ты упрямый чудил
Расекла ветра клетчатой плети
Все же — кто же мек, кто же чудит
Жуки! татдой к тебе пламенеть.

Жизни мой! Синевой распутикой
Глаз твоих в к тебе прихвостен.
Взгляд их ясный всегда турлит зовом,
Но куда, но куда кихер он!

Жизни мой, за какими холмами
Твоя с усталой кровелью дом
Тихой тенью, стоишь побитой камнями
На распути стоишь босиком.





Ыран-и, паян-и...
төрөклән
Вутланё
сёршымвй чёри,
Кавардй чечеклән
чечеклэ
Сёре
сён хёселён юрри.

М. Сеспель.
Автограф
стихотворения.
1921—1922 (?) гг.

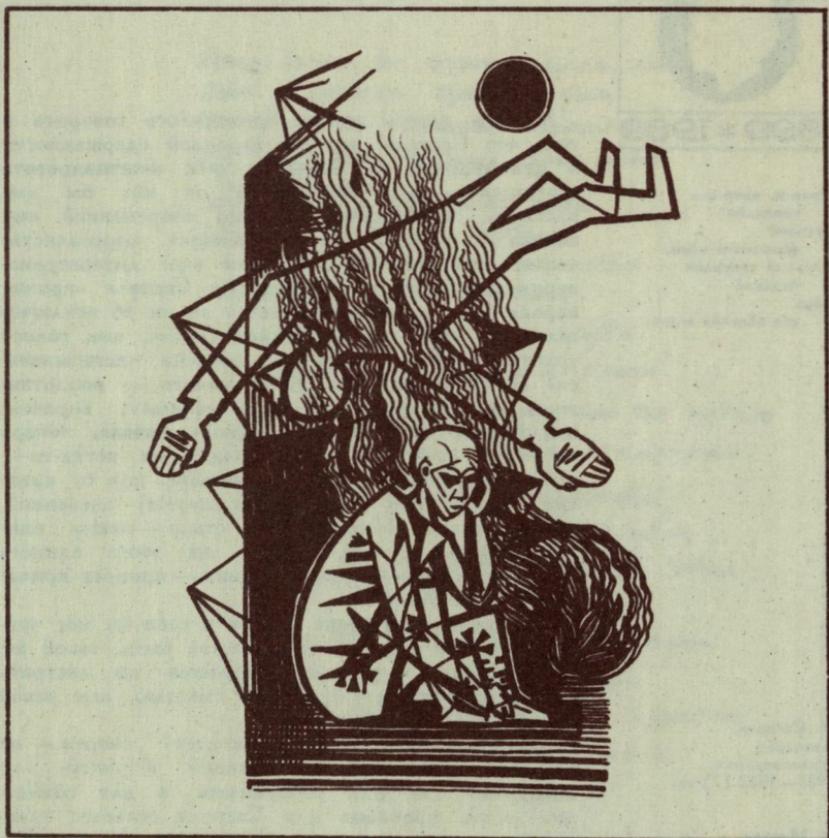
А. Миттов.
Иллюстрация
к стихотворению
М. Сеспеля
«Голодный псалом».
1966.

Мне, в другом месте, приходилось говорить о том, что Сеспель, верный народной сдержанности и целомудрию, не позволял себе эстетизировать трагическое, — это трагическое он мог бы выплеснуть, «выбросить» в лицо современной ему поэзии в образах, не уступающих сюрреалистическим, но это было бы для него литературно-нарцисстическим проявлением; у Сеспеля «кричит народ», а не он, — догадывается ли он об исключительности того, какой он рот (более, чем голос трагического?) — у него нет времени «догадываться» об этом: надо успеть докричать — воплотившись в «распинаемое тело народа»; впрочем, воплощение было уже с самого начала, теперь же — все путается: где «кричал» он когда-то — сам? — ибо потом наступила тишина, как от изъятия смысла, она переросла в пустоту внезапной, неопределимой Покинутости, стала — неким единым телом, и вот, — только из этого единого довеивает теперь остаток дыхания — призрак крика: «Илй! Илй! Лимá!..»

Возможно, вхождение смерти в себя он мог чувствовать, как ощущал это, должно быть, такой же юный Траклъ, — но не заморожен ли австрийский лирик завлекающей его смертью, как некой «сине-голубой» красотой?

Продвижение Сеспеля навстречу смерти — не «расчет с жизнью» как таковой. «Нужен» или «ненужен» (не для разрушения, а для создания), — эта проблема для Сеспеля остается главной — до смертного часа. «Я больше уже не могу быть нужным, я должен убраться самого себя, это будет в ближайшие дни», — ясно, тихо и спокойно говорит он последнему своему другу — украинскому поэту-крестьянину. «Михаил, подумай еще». «Подумаю, потом скажу, что я решил, — обещаю тебе». Сеспель единственный раз в жизни не сдерживает свое слово, в один из ближайших дней он не возвращается в дом, где он жил вместе с другом. Он кончает жизнь самоубийством в липовой аллее близ села Старогородка Черниговской губернии.

Судебные следователи, прибывшие разбирать причины случившегося, забирают большинство бумаг поэта, — они никогда не будут найдены. Это — второе крупное изъятие его рукописей, — первый раз архив поэта полностью был забран при его аресте в 1921 году у него на родине, — в Чебоксарах. Поэтическое наследие Михаила Сеспеля насчитывает сейчас около 30 стихотворений, и это — непревзойденные шедевры поэзии его народа.



PLOUGHING OF THE NEW DAY
 (a fragment)

(Translated by Peter France)

When the time comes for the new shoots to appear,
 Before The New Day out of the black earth,
 In the image of a sunny cornfield, spreading like the sun,
 The Fate of the Chuvash will rise boldly.
 Sparks of this cornfield, silver and gold like braid,
 Will flow gaily over the earth with the of gusli.

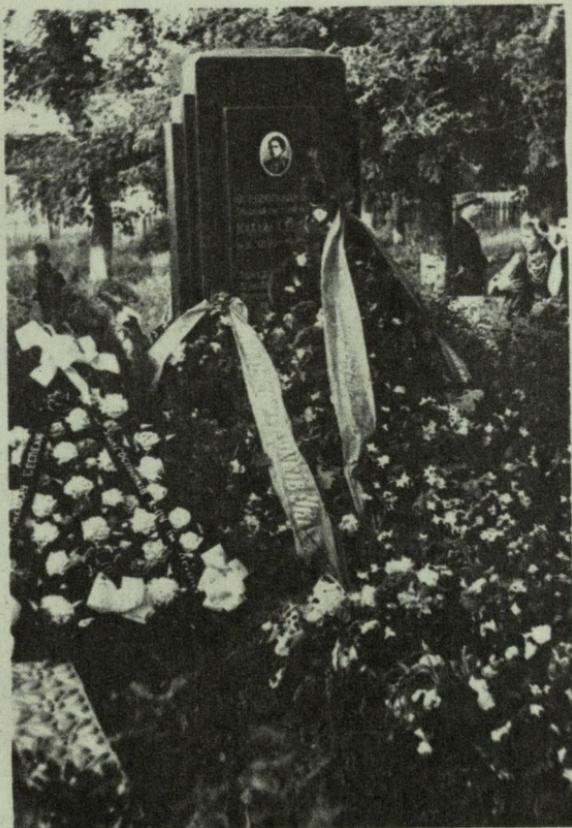
The Shuvash of a new and mighty age, with new heart,
 His shoulders touching the blue of the sky,
 Going out into the fields of life, will put on the sun's

garments,

The New Day will embrace him tenderly, gladly;
 Before him, on the new road, giving birth to new flowers,
 Will descend the rainbow bridge of the Internationale.



А. Миттов.
Иллюстрация
к стихотворению
М. Сеспеля
«Грядущее».
1966.



Город Остер.
Могила М. Сеспеля.

Фрагмент перевода
на английский язык
стихотворения
М. Сеспеля
«Пашня Нового Дня».

Бюст М. Сеспелю
в Чебоксарах.
Скульптор
Алексей Майраслов.
Установлен
в мае 1988 г.

Шанчак пуррисем — телейлэ.
Авал асаттесене машкал тунисене манас мар.
Машкал айенчен чере тухна чөлхе тёнчере су-
халмэ.

Ку таранччен чаваш сáмахэ илтёнмен,— халэ
чаваш юрри илтёнэ; чаваш сáвви, чаваш сáмахэ
Атáл хумэ пек, вáрман сáсси пек, кэсле сáсси
вырáнне пулэ. Чáваш чёлхи тимёр татэ, шивёч
пулэ.

Вáхát шитэ! Вáхát шитэ!
Вáхát шитсен, шáкна шáракана: «Ку чáн калáна
иккен» — тесе асáнэс.

Мух. Сеспель.



Заказ № 18. Тираж 200 экз. 1989 г.
Полиграфический участок кооператива «Оркон»
при Чебоксарской типографии № 1.